

Л. А. Калинин

«МЫСЛИТЬ СЕБЕ
ПРЕДМЕТ И ПОЗНАВАТЬ
ПРЕДМЕТ НЕ ЕСТЬ...
ОДНО И ТО ЖЕ»¹,
ИЛИ Э. Т. А. ГОФМАН
И «ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ
АНАЛИТИКА»

Ставится вопрос о кантианстве Э.Т.А. Гофмана на примере новеллы «Песочный человек», в которой показывается, что трансцендентальная рефлексия как важная гносеологическая процедура имеет практический смысл в человеческой жизни.

In the article the question is raised about the Kantianism of E.T.A. Hoffmann on the example of the story from "The night stories", which shows that the transcendental reflection as an important gnosological form makes the practical sense in the human life.

Ключевые слова: Э.Т.А. Гофман как кантианец, знание, кантианство в искусстве, мнение, мыслить, познавать, трансцендентальная рефлексия.

Key words: E.T.A. Hoffmann as the Kantianist, knowledge, Kantianism in the fine art, opinion, to think, to get to know, transcendental reflection.

Признание чего-то истинным имеет место в нашем рассудке и может иметь объективные основания, но требует также субъективных причин в душе того, кто высказывает суждение.

*И. Кант*²

Первая четверть XIX века — время расцвета гофмановского творчества — для трезвой кантовской методологии научного познания, опирающейся на эмпирический базис, не было благоприятным. Общество казалось замороженным Шеллинговыми идеями всеобщего одушевления природы. Спиритуализация действующих в природе сил тяготения, сил «химического сродства», таинственность взаимодействия сил магнитных и электрических настраивали общественное сознание на мистико-пантеистический лад. И дело, конечно, не в одном Шеллинге: таков дух романтической эпохи. Романтики вторили Шеллингу, он вторил романтикам. Его знаменитое сочинение «О мировой душе. Гипотеза высшей физики для объяснения всеобщего организма...» [9] может, пожалуй, рассматриваться как значительно более трезвое, чем, например, не менее известная в то время работа Йозефа Гёрреса «Афориз-

¹ См.: И. Кант. Критика чистого разума [В 146].

² См.: И. Кант. Критика чистого разума [А 820 / В 848].

мы об искусстве в качестве введения к последующим афоризмам об органичности, физике, психологии и антропологии» [2]. Во всяком случае, Шеллинг значительно менее спекулятивен, мысль его теснее связана с наукой, рефлексией над ее проблемами. Примером может служить следующее его рассуждение: «Когда я утверждаю *материальность* света, я не исключаю этим противоположного мнения, а именно что свет есть феномен движущейся среды. Насколько мне известно, как сторонники Ньютона, так и сторонники Эйлера признаются, что каждая из этих теорий сталкивается с определенными трудностями, отсутствующими в другой. Разве не лучше было бы поэтому рассматривать эти мнения не как противоположные, как это делалось до сих пор, а как *взаимодополняющие* и таким образом соединить преимущества обоих в *одной гипотезе?*» [9, с. 98].

Подобного рода прозрения не исключают романтически-мечтательной магии, способности видеть невидимую сущность природных феноменов, *осязания* продуктивной силы сознания. «Помимо Природы нет Ума, помимо Ума — нет Природы...» [2, с. 64]. Гегель рассматривал такое мировоззрение как тождество субъекта и объекта, но *объективирующее* (нарушающее симметрию тождества в сторону Бога) тождество. Эпоха в лице выражающих ее дух мыслителей не обращала никакого внимания на отвращающее предостережение Канта: *мыслить* — еще не значит *познавать*, *быть мыслимым* — еще не значит *быть существующим*. Удивительно, что Э.Т.А. Гофман, опираясь на Канта, мог противостоять этому глобальному поветрию культурного европейского мира задолго до усилий позитивизма остановить его беспрепятственное спекулятивное шествие, что я и пытаюсь доказать, в том числе и в данной статье. Ее задача двоякая, отчего работа делится на две части. Вторая из них главная, поскольку ее можно рассматривать как аргумент в пользу гофмановского согласия с Кантовым «Трансцендентальным учением о началах»: ведь вынесенный в заглавие статьи тезис, сформулированный философом в «Трансцендентальной аналитике», обоснование свое получает с помощью «Трансцендентальной эстетики». Первая же часть статьи является вводной и опирается на *полное согласие* двух основных частей «Критики чистого разума», а именно на то, что «Трансцендентальное учение о методе» строго соответствует «Трансцендентальному учению о началах».

Ясно само собой, что как *мыслить себе предмет* и *познавать предмет* не есть одно и то же, так и *мнить* о предмете и *знать* предмет также не есть одно и то же. «Мнение, — определяет это понятие Кант, — есть сознательное признание чего-то истинным, недостаточное как с субъективной, так и с объективной стороны», тогда как *знание* есть «и субъективно, и объективно достаточное признание истинности суждения» [А 852 / В 850].

1. Мнение и знание

И я в Аркадии рожден.

Э.Т.А. Гофман

*Житейские воззрения кота Мурра...*³

Родиться в Аркадии — это родиться счастливо. Пусть Кёнигсберг не отличается средиземноморской мягкостью климата и плодородностью почв, у него есть свои аркадские достоинства. Недаром Кант, появившийся

³ Имеется в виду незавершенный роман Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра с присовокуплением макулатурных листов из биографии капельмейстера Иоганнеса Крейсlera» [6].

в нем на свет, по зрелом размышлении признал его удачейшим местом для рождения философа. Но основным *аркадским достоинством* Кёнигсберга следует считать самого Канта: после него университет переполняется продуцирующей духовной энергией. Отсюда, естественно, возникает вопрос: имеет ли греко-латинская поговорка, приведенная Мурром, автореферентный смысл — относил ли Гофман ее к самому себе. Не есть ли он сам продукт этой духовной энергии?

При попытке ответить на данный вопрос и пригодится различие знания и мнения. Кант сам писал, что если нет ни малейшей возможности проверить какое-либо сообщение (речь у него идет о библейских чудесах), то содержание его более чем *сомнительно*. Совсем другое дело, если аргументы в пользу некоего тезиса можно проверять и перепроверять. И хотя проверка на соотношение с действительностью текстов, содержащих художественный вымысел, — дело весьма тонкое, но, как уже не раз было показано, не безнадежное.

Канту было уже 52 года, когда Гофман только-только увидел свет кёнигсбергского неба. Через руки Канта — великого профессора Альбертины — прошло много кёнигсбержцев, ставших позднее всемирно известными, и отношение к ним философа понятно само собой: он пестовал их души, разум. Менее понятно и всякий раз вызывает особый вопрос, что каждый из сотен студентов Канта, в том числе, конечно, и Э.Т.А. Гофман, воспринял от своего учителя, насколько успешным каждый раз был процесс воспитания и образования?

Я осмелюсь назвать легендой странное утверждение, что на юного Гофмана профессор Кант, лекции которого он должен был слушать в университете, не оказал *никакого* влияния. Легенда эта кочует из книги в книгу, от одного биографа Гофмана к другому. Усиленный, или крайний, вариант легенды — мнение, что Кант вообще оказался для писателя чужд и никак не представлен в его творчестве, другое дело Шеллинг. Кажется, однако, легенда начинает ставиться под сомнение, пока робко, половинчато. Лиха беда начало! Очень часто оно приводит к говорящемуся мимоходом замечанию: кто же этого не знает?!

Например, в биографии Э.Т.А. Гофмана (автором этого интереснейшего исследования жизни и деятельности великого художника является Р. Сафрански) вопрос предстает далеко не однозначно. Вначале смело утверждается, что «вероятнее всего, Гофман ни разу не посетил лекции Канта» [8, с. 37]. Чтобы так заявлять, надо, конечно, иметь на это веские основания, а у Сафрански вряд ли есть таковые. В конце же книги, посвященной изучению юридической практики Гофмана, он приходит к выводу, что советник апелляционного суда и член «Королевской прусской непосредственной следственной комиссии» в «качестве юриста был на стороне Канта» [8, с. 334], и прямо называет его «юристом-кантианцем» [8, с. 337]. Скорее всего, данное противоречие и заставило Сафрански заключить, что «лишь по окончании университета он (Гофман. — Л.К.) заинтересуется философией Канта, и это не пройдет для него бесследно» [8, с. 39]. Из гофмановских собственноручных заключений по судебным делам действительно следует, что в качестве правоведа он был кантианцем. Однако и художественное творчество Гофмана может служить доказательством хорошего знания им фундаментальных идей Кантовой гносеологии, этики, философии религии и политики. Обращается же, например, кот Мурр к

обсуждению достоинств категорического императива, давая нравственную оценку поведения приятелей из кошачьего и собачьего сообщества. И эстетика Канта после выхода «Критики способности суждения» в 1790 г. широко обсуждалась не только в Кёнигсберге, но всем интеллектуальным миром Германии как раз во время студенчества Гофмана. А ведь известно, что много больше чем юристом, он хотел быть музыкантом. Пройти мимо эстетики Канта ему не возможно было никак. Скорее всего основы мировоззрения и базовые философско-правовые и эстетические понятия были заложены будущим государственным советником, писателем и композитором еще в университете и далее только упрочивались. Хотя ни в дневниках писателя, ни в письмах или каких-либо других документах об изучении Гофманом произведений Канта в послеуниверситетской жизни явных сообщений нет, это еще ничего не значит. «Метафизика нравов», а только в данной работе Кант подробно излагает свои философско-правовые воззрения, увидела свет лишь в 1798 г., когда Гофман был переведен в берлинский апелляционный суд, активно занимался юриспруденцией и сдавал квалификационные экзамены. Знакомство с книгой — хороший повод обновить свои университетские познания. К тому же каждая книга Канта становилась культурным событием. Если таковой не стала «Критика чистого разума», то уже в 1788 г., когда издали вторую из «Критик...» философа — «Критику практического разума» — интерес к ней немецкой публики был всеобщим.

Конечно, надо учесть бытующее мнение, что, когда Гофман состоял студентом Канта, лекции уже не доставляли профессору прежнего удовольствия, как бывало, когда студентом был Иоганн Готфрид Гердер, и не вызывали, как ранее, бурного студенческого энтузиазма. Однако это вряд ли так: и Гофман испытывал подобный энтузиазм, о чем можно судить на основе его произведений. Э.Т.А. Гофман учился в университете в 1792—1794 гг., а в 1796 г. 76-летний Кант прекратил чтение лекций.

Нельзя никак исключить и такой ситуации, что Гофман-студент получал сведения и представления о кантианстве вообще и кантовской метафизике нравов в частности не только как непосредственный посетитель Кантовой аудитории, но и из широко ходивших в данное время среди студентов рукописей конспектов практически всех лекционных курсов великого профессора. Известно, что изготовление их копий к концу профессорской деятельности Канта для некоторых студентов Альбертины оказалось даже средством извлечения прибыли: подобные конспекты стали весьма ходовым товаром. И это, кстати, счастливейшее обстоятельство для кантоведов, поскольку, опираясь на упомянутые записи, удастся воссоздать содержание прочитанных великим философом лекционных курсов.

Я попробую указанную легенду если не похоронить, то, по крайней мере, поколебать и прежде всего хочу задать вопросом, откуда эта легенда пошла? Как такое мнение возникло?

Все биографы ссылаются прежде всего на Теодора Готлиба фон Гипшеля — Гипшеля-младшего, приходившегося племянником знаменитому бургомистру Кёнигсберга, писателю и тайному советнику, ученику и другу Канта. Гипшель же младший, был, в свою очередь, ближайшим другом Гофмана, их общение продолжалось с детских лет через университетские годы до последних дней жизни великого художника. В своих посмертных воспоминаниях Т. фон Гипшель писал: «Гофман рассматривал изучение

юриспруденции... как возможность начать быстрее зарабатывать на хлеб и покинуть бабушкин кров. Душа его тянулась к искусству. То, что не относилось к искусству или праву, *средству прокормить себя в будущем* (курсив мой. — Л.К.), его не волновало. Он шел к цели наиболее прямым путем. Поэтому ему остались чужды лекции Канта — он откровенно заявлял, что ничего в них не понимает, хотя тогдашний обычай требовал, чтобы любой студент начинал постижение университетских наук именно с лекций Канта по логике, метафизике и этике. Легко догадаться, что большинство слушателей их не воспринимало и не усваивало. Наиболее доступные из его лекций — по антропологии и физической географии — посещались, как правило, лишь немногими» [3, с. 39]. То есть что же говорить о посещаемости более сложного — метафизического — цикла?

Как отнестись к приведенному утверждению? Совершенно не верить Гипшелю нельзя, хотя и безоговорочно доверять каждому слову не следует, исходя даже хотя бы из того, как он аттестует наиболее популярные и посещаемые курсы кантовских лекций — как раз по антропологии и физической географии. Вполне возможна такая ситуация: абсолютно откровенный с другом Гофман в их студенческих разговорах не раз жаловался Гипшелю на трудность понимания кантовских лекций, по-юношески максималистки мог даже заявлять, что *ничего в них не понимает*. Но так ли это было на деле? Гипшель сам утверждает, что, наряду с искусством, право рассматривалось Гофманом как глубоко интересующая его область знаний, из которой он собирался извлечь практическую для себя пользу. К тому же юриспруденция была традиционной семейной сферой занятий. Воспитывающий Гофмана дядя (по материнской линии) не очень преуспел на службе, и племянник даже подсознательно соперничал с ним, иронически к нему относясь. А это требовало серьезного погружения в проблемы права. Ведь чтобы соперничать, надо чувствовать свою силу. Глубокие познания в данной области, постоянно проявляемые на протяжении всей чиновничьей карьеры, служили Гофману на государственной службе безотказно, обеспечивая бесспорный авторитет среди коллег и начальства. Правда, среди начальства до поры до времени.

Гипшель своим утверждением о пренебрежительном отношении Гофмана-студента к лекциям Канта мог преследовать определенные цели. В своих воспоминаниях он хотел представить друга насколько возможно лояльным правительству, а в этом отношении возникли в два-три последних года жизни Гофмана известные трудности, связанные с участием писателя-юриста в политических судебных процессах над так называемыми демагогами, сторонниками сохранения в условиях реставрации либеральных правовых и политических установлений Наполеона. Даже самых «одиозных» из демагогов, вопреки желанию правительства, писатель, будучи указом короля назначен советником «Королевской прусской непосредственной следственной комиссии», мужественно и безупречно с юридической точки зрения защищал. Наконец, вследствие упорства в спорах с правительством Гофман сам был объявлен демагогом и попал под следствие, инициированное директором полиции К. фон Кампцем и поддержанное королем.

Поскольку демагоги были сторонниками политических свобод и, как правило, кантианцами, то прослыть таковым для Гофмана было мало полезного, и Гипшель прилагал максимум усилий, чтобы обелить друга, даже по-

сле его смерти. Совсем другое дело, если бы он был, например, гегельянцем... Гипшело, советнику государственного канцлера Пруссии графа К. А. Гарденберга, и самому значиться ближайшим другом убежденного кантианца никаких резонансов не было, поэтому он всячески старался оградить друга от официального административного преследования.

Легенда могла появиться и как следствие известного анекдота в самом начале цикла новелл «Серапионовы братья». Пройти мимо него, не обратить на этот анекдот внимания не может ни один читатель Гофмана, а в нем речь идет как раз об отношении к Канту. В тексте, тем более художественном, все зависит от понимания, готовности читателя понять автора, т. е. проанализировать, сопоставить части текста, оценить его как целое. Хоть почти за каждым из братьев, читающих каждый свою новеллу или сказку, стоит конкретное историческое лицо из числа близких Гофману людей, по отношению к которым надо быть предельно корректным, данные образы все же не документальные, а художественные, которыми правит автор сборника новелл, реализуя свой замысел, а значит, по отношению к ним и их суждениям можно ожидать и иронии, и гротеска – любых художественных вольностей.

Итак, сначала сам анекдот, прозвучавший из уст Киприана, одного из «Серапионов». Кстати, хочу здесь отметить, что под указанным именем в «Серапионовых братьях» выступает сам автор. Этот герой включился в разговор о том, удастся ли друзьям после двенадцати лет разлуки вернуться в русло прежних отношений полного единства интересов и взаимного доверия, общности понимания жизни и людей, единогодушного презрения к филистерам, вновь ощутить то чувство светлой радости и счастья, которое получали они прежде от общения друг с другом. Остались ли товарищи верны прежним романтическим целям и установкам вопреки явно разному жизненному опыту, оставившему на каждом отметины? Грозная историческая буря пронеслась над ними за это время, и какую печать она оставила на каждом, еще надо выяснить. Герой приводит два примера реагирования людей на течение времени, давая каждому свою оценку. Однако большой вопрос, совпадает ли оценка рассказчика с авторским отношением к прозвучавшим историям.

Обратимся же к содержанию рассказанной истории: «Но мне кажется, – начал свою речь Киприан, – что если бы нам и удалось попасть в прежнюю колею, то этим мы доказали бы только, *самым ясным образом* (курсив мой. – Л. К.), наши филистерские наклонности. Это напоминает мне известный анекдот о двух философах, но, впрочем, его следует рассказать обстоятельнее.

В Кёнигсбергском университете были два студента; назовем их Себастьяном и Птолемеем. Оба ревностно занимались изучением Кантовой философии и ежедневно затевали горячие споры о том или другом положении. Однажды, во время такого философского диспута, в ту минуту, когда Себастьян поразил Птолемея одним из сильнейших аргументов, а тот раскрыл рот, чтобы ему возразить, они были прерваны, и начатый разговор прекратился; а затем судьба распорядилась так, что оба уже более не видались. Прошло двадцать лет, и вот однажды Птолемей, проходя по улице города Б..., увидел идущего перед собою человека, в котором сейчас же узнал друга своего Себастьяна. Тотчас же бросился он к нему, схватил его за плечи, и едва тот успел обернуться, как Птолемей уже закричал: “Итак, ты уверяешь, что...”, и затем начал опять прерванный двадцать лет тому назад раз-

говор. Себастьян, в свою очередь, начал поддерживать кёнигсбергские аргументы; спор продолжался час, другой; оба бродили по улицам и, наконец, разгорячась и устав, решили представить спорный пункт на усмотрение самого Канта, но, к сожалению, забыли только то, что оба они были в Б..., а старик Иммануил уже много лет спал в могиле. Это так поразило обоих, что они расстались, и уже более не виделись в этой жизни. Эта история, в которой самое важное то, что она *действительно случилась* (курсив мой. — Л.К.), способна навести на очень грустные мысли, — продолжает Киприан уже оценочную часть своей речи. — Я, по крайней мере, не могу подумать без ужаса о таком страшном филистерстве, и для меня забавнее даже анекдот, случившийся с одним старым советником, которого я посетил, вернувшись сюда. Он принял меня чрезвычайно ласково, но при этом я заметил в его манерах какую-то странную и непонятную для меня принужденность, пока, наконец, во время одной прогулки добряк не обратился ко мне с умиливающей просьбой надеть опять мой старый пудренный парик и серую шляпу, так как иначе он никак не мог себя уверить, что перед ним стоит его прежний Киприан. При этой просьбе он усердно отер пот, выступивший у него на лбу, и добродушно умолял меня не сердиться на его желание» [4, с. 11–12].

Может ли читатель согласиться со сделанными Киприаном оценками обоих анекдотов? Не только может, а в большинстве случаев и соглашается. Вполне можно пройти мимо иронии Гофмана, даже достигающей гротеска, принять все рассуждение за чистую монету. Сделать это трудно, и тем не менее сколь часто с трудом предполагаемое осуществляется легче всего. Читатель вполне может согласиться со странностью и необычностью поведения двух друзей, несколько не задумываясь над квалификацией его как филистерского.

Разве не бросается в глаза нарочитая неадекватность оценки двух анекдотов, сделанной Киприаном? Последовательность в интересах и убеждениях — филистерство, а рутинность, неприятие нового, хотя бы и во внешнем облике и одежде, — всего лишь забавно? По-моему, *самым ясным образом* доказывается, что эти оценки надо перевернуть. *Страшным* филистерством, вызывающим *ужас* от одной о нем мысли, называет он увлеченность сложной духовной проблемой двух людей, у которых проблемы такого рода составляют суть их характеров. Для них продвинуться в решении вопроса хоть на шаг важнее всяческих условностей и внешних обстоятельств. Птолемей ни секунды не колебался в своей уверенности, что Себастьян в глубине души остается точно таким же, каким был при расставании *двадцать* лет назад. И он не ошибся! Какую роль тут могли играть те внешние изменения, тем более в одежде, что конечно же произошли за столь длительный по меркам человеческой жизни срок?

Данные обстоятельства у нормального человека могут вызвать только одобрение, если не восторг и восхищение величием натур, осознающих свое духовное родство и неизменную верность истине и высоким идеалам Кантовой философии. Видимо, это вообще черта всех подлинных кантианцев, существующих вот уже двести лет под разными земными широтами.

Не случайно второй анекдот оценивается его рассказчиком как *забавный* — характеристика амбивалентная, могущая служить и одобрению, и порицанию. Забавной может быть и несообразность чего-то, а мы с ней и имеем тут дело. Покровительственная снисходительность отношения к старому

советнику сквозит в любом сказанном о нем слове: сам он *добряк*, просьба его *умилительнейшая*, мольба *добродушная*. Оценка данной ситуации как забавной, тогда как первая названа ужасной, несомненно играет роль показателя ироничности текста *самым ясным образом*.

Вообще, в обоих анекдотах ощущается автобиографичность их, непридуманность. Вряд ли кто мог поделиться с Гофманом наблюдением такого рода. Только непосредственный участник двух разделенных двадцатью (!) годами встреч мог обратить внимание на то, что разговор вернулся к проблемам, волновавшим друзей в их студенчестве. И это совершенно естественно, по-другому не бывает. Сначала речь заходит о том, сколько же утекло воды с момента, когда друзья были едины, обсуждали обоюдоинтересный предмет в момент расставания, оказавшегося столь долгим. Э.Т.А. Гофман, видимо, сам был героем и первого, и второго анекдотов. Он мог поразиться различием двух встреч: одной — с однокашником по Альбертине, другой — со своим родственником. Старым советником вполне мог быть его дядя, старший советник трибунала в Берлине, во время второго и окончательного водворения там Гофмана бывший уже в отставке. Какой-то намек на неузнаваемость племянника превратился в художественное событие. Хорошо известна способность Гофмана остранять до гротеска самые обычные бытовые факты. Автобиографичность представленных событий, а она вполне вероятна, вступает в противоречие с известиями о равнодушии Гофмана к идеям Канта и по-новому заставляет рассматривать студенческие интересы писателя.

Есть, правда, еще одно говорящее не в пользу Гофмана обстоятельство, мимо которого биографы не проходят. В феврале 1804 г. он на три дня (с 13 по 15 февраля) приезжал в Кёнигсберг, что совпало со смертью Канта, хотя ехал писатель проститься с Дорой Хатт, своей юношеской любовью. Гроба Канта он не навесил. Враг всего показного, да к тому же и вообще не желая обнародовать свое появление в городе, Гофман в самые первые дни официальной суматохи и шума, видимо, не нашел возможности отдать формального долга профессору. Причин может быть предположено много и помимо безразличия, констатируемого обычно по этому случаю.

Вообще к Канту в Германии сложилось почтительно-благоговейное отношение, к Гофману же в XIX в. — больше чем прохладное. Уже эта эмоционально разная оценка могла привести к противопоставлению одного другому. Однако все более очевидный факт широкого присутствия идей великого философа в произведениях Э.Т.А. Гофмана приближает Гофмана к Канту неумолимо.

2. Новелла «Песочный человек» в свете гносеологии И. Канта

*Vita incerta — mors certissima*⁴

Э.Т.А. Гофман предстает в произведениях своих как достаточно изощренный гносеолог. Предположение, что знаком он с текстом главы «Об обосновании различения всех предметов вообще на *phenomena* и *noumena*» совместно с приложением к ней, которое называется «Об амфиболии рефлексивных понятий, происходящей от смешения эмпирического примене-

⁴ Жизнь неверна, но смерть как нельзя более достоверна (лат.).

ния рассудка с трансцендентальным», из второго издания «Критики чистого разума» не будет вовсе не обоснованным. Знаком писатель и с механизмом *трансцендентальной рефлексии*, без которого, как утверждает Кант, мы не в состоянии различать достоверные явления реальной жизни, *упрямые факты*, и предметы фантазии, нигде в другом месте, кроме как в головах людей, особенно же литературных героев, не встречающиеся. Трансцендентальная рефлексия — это необходимое умение человека давать себе отчет, при каких условиях получены нашим сознанием те или иные понятия и образы и какие познавательные способности при этом мы использовали, как они взаимодействовали. Не находимся ли мы полностью под властью одного лишь чистого разума? Состояние сознания, не умеющего отличать слово и действительность, свойственное архаическому периоду его существования, равно как неумение детей проводить различие между своей фантазией и реальностью, — такое состояние сознания лишено еще трансцендентальной рефлексии, абсолютно обязательной для правильной ориентации в мире. Надо уметь различать мир кажимостей и мир реальный, неумение это делать может быть даже смертельно опасным.

Проблема необходимости ориентироваться в мире феноменов и ноуменов является предметом специального ее анализа Гофманом в новелле «Песочный человек» из книги «Ночные рассказы». Романтическая история приведена Гофманом для того, чтобы читатель мог трезво оценить романтическое миропонимание и его возможные последствия.

Завязка всех событий в новелле дана в эпистолярной манере, так популярной в XVIII в. Студент Натанаэль пишет письмо другу своему Лотару, которое по ошибке попадает в руки сводной сестры Лотара Клары, возлюбленной Натанаэля и чуть ли с ним не помолвленной. Письмо так встревожило ее, что она сочла необходимым на него ответить. И герой новым письмом другу спешит успокоить и его, и Клару — он понимает, что Лотар полученными сведениями поделится с сестрой, что ей все будет известно, как это случилось и с первым письмом.

Натанаэль предстает перед нами из писем человеком впечатлительным, склонным к фантазированию и рефлексии; живое его воображение подстегивает эмоции, и внутренняя духовная жизнь поглощает все его сознание, а трезвое восприятие окружающего мира исчезает полностью. Душевная неуравновешенность героя, будучи чертой наследственной, получила импульс вместе с детской боязнью «Песочного человека», или «Песочника», угрозой появления которого мать отправляла по вечерам детей в постель. Эта психическая травма сыграла в судьбе Натанаэля трагическую роль. Детские фобии — дело нешуточное. Разыгрывающееся воображение заставляет ребенка буквально цепенеть. Родился непреодолимый интерес к чтению леденящих кровь историй о кобальдах, ведьмах, гномах, мертвцах-кровопийцах... И даже попытки матери, заметившей это, успокоить сына: «Дитя мое, нет никакого Песочника... когда я говорю, что идет Песочный человек, это лишь значит, что у вас слипаются веки и вы не можете раскрыть глаз, словно вам их запорошили песком» [7, с. 98], — воздействия не имели. Напротив, страшный образ нашел подкрепление в реальных тяжелых шагах, раздававшихся с лестницы: к отцу приходил поздний гость заниматься алхимическими опытами, требующими, как известно, таинственности. Но мальчик этого не знал, а когда выяснил, то страхи его не только не пропали — они разрослись. Гость, как оказалось, иногда появ-

лялся и днем за обедом, но ему доставляло какое-то патологическое удовольствие пугать детей и наслаждаться их страхом. А когда с его образом прочно связалась в его душе смерть отца (взрывом при очередном алхимическом опыте он был убит), потрясение Натанаэля при каждом вольном или невольном возникновении образа Песочника в его сознании могло быть фатальным.

Другой город, занятия в университете отвлекли и успокоили Натанаэля, с увлечением занимался он своими поэтическими опытами (склонность к поэзии и впечатлительность идут рука об руку), однако с такой натурой просто не могло не случиться того, что во встреченном торговцами линзами, очками, подозрными трубами ему почудился отцовский гость — Песочник. Спокойствие было утрачено. Обыденная жизнь оказалась нарушенной. Фантазия разыгралась: картины готового свершиться террористического акта, как сказали бы мы сейчас, одна ужаснее другой неотступно преследовали его.

Тут-то и произошел обмен письмами, о котором уже говорилось. О, если бы Натанаэль не был самоуверен при всей своей психической взвинченности, мог бы без мужской надменности прислушаться к словам Клары, понять и признать ее правоту? А она писала своему избраннику: «Скажу честно, мне думается, что все то страшное и ужасное, о чем ты говоришь, произошло только в твоей душе, а действительный внешний мир весьма мало к тому причастен. <...> Это фантом нашего собственного “я”, чье внутреннее сродство с нами и глубокое воздействие на нашу душу вергает нас в ад и возносит на небеса» [7, с. 106—107].

Противоречие в миропонимании обнаружилось с полнотой для Натанаэля неожиданной, но абсолютно очевидной автору новеллы. Он не зря дал главным героям их имена, выражающие их человеческую суть, а заодно и существо вытекающего отсюда конфликта: имя *Натанаэль* могло бы соответствовать сложному слову — рождающий духов, а *Клара* — ясная, всепонимающая, проливающая свет, объясняющая... Гофман как бы говорит нам, что здоровый жизненный инстинкт привел Натанаэля к Кларе, и, пойми он себя правильно, была бы прожита плодотворная жизнь.

Обмен посланиями — это преамбула событий, которые развиваются стремительно. Привычка Натанаэля *мыслимое* им принимать за *действительное* с легкостью дополняется способностью обращать в действительное *желаемое*.

Так случилось, что в купленную у псевдо-Песочника подозрительную трубу разглядел герой в окне напротив прелестную девушку, якобы дочь знаменитого профессора Спаланцани. Прекрасное создание понемногу начало возбуждать жгучее любопытство своей мечтательной неподвижностью. Натанаэлю почудилась в ней глубокая романтическая натура, захотелось познакомиться. К счастью, профессор неожиданно решил провести званый вечер, куда наряду с людьми из университета и известными городскими обывателями был приглашен и Натанаэль. Желание его сбылось, и он познакомился с девушкой, которой тут же и начал читать свои стихи. Клара, когда слышала его творения, одобряла их, но всегда при этом высказывала критические суждения и предлагала варианты улучшения стихов. Здесь же на протяжении всего вечера, а он засиделся возле великолепной слушательницы до того, что почти все разошлись и начали гасить в залах огни, он, стоило ему на момент замолчать и перевести дух, слышал всего одноединственное восторженное слово: «Ах-ах!» Ни любопытно-ехидных взгля-

дов по отношению к себе, ни даже смешков в свой адрес, что иногда позволяла делать себе Клара, здесь он не замечал. После этого вечера, так как Спаланцани пригласил его бывать у него, Натанаэль зачастил к профессору и почти каждый вечер проводил в его доме. Каждая встреча до мельчайших деталей напоминала первую: с наслаждением слушал герой поощряющее «ах-ах». Образ Клары совсем выветрился из его сознания, вытесненный новым.

Желание предложить руку и сердце полюбившейся Олимпии родилось довольно скоро. Намереваясь все решить, Натанаэль нашел кольцо его матери и отправился к профессору, чтобы сделать подарок возлюбленной «как символ своей преданности, совместной зарождающейся, расцветающей жизни» [7, с. 125].

Взбегая по лестнице, герой услышал доносящиеся из кабинета Спаланцани топот, звон разбивающегося стекла, глухие удары вперемежку с проклятиями и площадной бранью. Он уже различает крики:

- Бесчестный злодей, я вложил в нее всю жизнь!
- Ха-ха-ха, я, я сделал глаза!
- А я заводной механизм!
- Проклятая собака! Пусти!
- Сатана! Каналья! Прочь!

Дверь кабинета отворилась, и герой увидел профессора и отвратительного своего Песочника, дергающих и буквально разрывающих на части его Олимпию. Натанаэль остолбенел. Тут Песочник вырвал куклу из рук Спаланцани, волооча за собой добычу, сбежал вниз по лестнице и скрылся.

Ярость овладела Натанаэлем, ничего не осознавая, бросился он на профессора и «задушил бы его, если бы не подбежавшие люди. Безумие впустило в него огненные свои когти и проникло в душу, раздирая его мысли и чувства» [7, с. 126]. Беснующегося, издающего звериный вой, героя связали и препроводили в сумасшедший дом.

Благодаря заботам врачей, родных и, особенно, Клары, Натанаэль пришел в себя и мало-помалу стал прежним. Однако трагической развязки всей истории избежать не удалось. Натанаэль, осознавший, что счастье его в Кларе, решает наконец связать с ней свою судьбу и переселиться в свое поместье. Чтобы проститься с городком, поднимаются они на башню ратуши, достал счастливчик из кармана злополучную подзорную трубу, о которой речь ранее уже шла, чтобы посмотреть на окрестные горы, но взгляд упал и на площадь под ногами. И... о ужас! Он разглядел среди людей внизу своего Песочника. Сознание его вмиг помутилось, в Кларе увидел герой напугавшую его куклу и, если бы не помешали, столкнул бы ее с башни. Самого же Натанаэля удержать не удалось.

* * *

Новелла «Песочный человек» — прекрасная иллюстрация ко многим страницам трактата «Критика чистого разума». Но и такие произведения Гофмана, как «Эликсир Сатаны», «Серационовы братья», в различных формах трактуют острые гносеологические проблемы, имевшие место как в докантовской философии, так и в философии трансцендентального идеализма. Все вышедшее из-под пера Гофмана вносит те или иные краски в вопрос о необходимости различать мыслимое и реальное. Исходя из этого, я имею возможность утверждать, что широко известное двоепланье Эрнста Теодора Амадея Гофмана покоится на Кантовом дуализме. Мир субъ-

ективных фантастических видений «постромантик» Гофман по-кантиански всегда соотносит с эмпирической реальностью, перед объективностью которой отступает любой субъективизм, достоверное и вымышленное тесно переплетаются в сюжетах его творений, но никогда не отождествляются — в конечном счете реальность и фантазия занимают полагающиеся им места. Так, мастерской рукой нагромождает писатель фантазмагорические сцены в сказке «Королевская невеста», озадачивающие и сбивающие с толку неискушенного читателя, где романтическая стилистика и методы построения текста романтизмом играют всеми цветами овощефруктовой радуги; но в конце сообщает, что основой сказки послужило реальное событие, ставшее ему известным из газет: владелица некоего огорода, вырвав из земли морковину, нашла на ней золотое кольцо с великолепным бриллиантом, через которое морковь проросла. Тут же пришла в действие фантазия, переданная автором героям сказки. Однако в отличие от Натанаэля герои со своей фантазией справились, и финал соответственно вызвавшему его событию оказался счастливым. Назидательно завершает сказку Гофман: «Пусть саламандры вспыльчивы, сильфы — ветрены, ундины — влюбчивы и страстны, а гномы — злы и коварны — с этим еще можно помириться... Кто раз предастся одному из этих существ, то они сумеют сделать того человека даже с виду непохожим на себя самого, и сверх того, утащат его в свою царство, откуда ему уже никогда не выбраться обратно на землю» [5, с. 212].

Тот факт, что в двоимирии Гофмана всегда один из миров — это реальность в ее плоти и крови, а второй мир, фантастический, служит критерием оценки мира реальности в качестве идеала или, напротив, антиидеала, столь существенно отличает художественный метод Гофмана от романтического, что он препятствует квалификации его как романтика. Н.Я. Берковский фиксирует такую, с его точки зрения, странность: «Один из парадоксов истории тот, что Гофман, полнее других осуществлявший заветы романтизма в Германии, самими же немецкими романтиками неохотно был признаваем за своего» [1, с. 426]. Парадокс этот, замеченный Берковским, можно объяснить как раз тем обстоятельством, что Гофман, совершенно свободно оперируя всеми романтическими приемами, иронически играл ими. В основе мировоззрения своего он романтиком не был, и они это чувствовали. Имея возможность учиться у романтиков, Гофман не увлекался их крайним идеализмом, сам смолоду трезво-критически относился к окружающему его миру, знал реальности цену и умел отдавать ей должное. Не раз рука его выводила строки, подобные следующим: «Быть может, мне посчастливится, подобно хорошему портретному живописцу, так метко схватить иные лица, что ты найдешь их похожими, не зная оригинала, и тебе даже покажется, что ты не раз видел этих людей своими собственными очами. И быть может, тогда, о мой читатель, ты поверишь, что нет ничего более удивительного и безумного, чем сама действительная жизнь...» [7, с. 111].

Гофмана с самых первых его шагов ценили как беллетристического мастера, но всегда были те, кто мог распознать значительность и глубину его мысли. Много было таких людей в России, среди которых нельзя не назвать В.Г. Белинского, Ф.М. Достоевского и В.С. Соловьева. В Германии, конечно, их было еще больше.

Список литературы

1. Берковский Н.Я. Э.Т.А. Гофман // Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. СПб., 2001.
2. Гёррес Й. Афоризмы об искусстве... // Эстетика немецких романтиков. М., 1987.
3. Гиппель Т.Г. фон. Воспоминания о Гофмане // Гофман Э.Т.А. Жизнь и творчество в письмах, высказываниях и документах времени / под ред. К. Гюнцеля. М., 1987.
4. Гофман Э.Т.А. Серапионовы братья // Собр. соч. СПб., 1896. Т. 4.
5. Гофман Э.Т.А. Королевская невеста // Собр. соч. СПб., 1896. Т. 4.
6. Гофман Э.Т.А. Житейские воззрения кота Мурра // Гофман Э.Т.А. Крейслериана. Житейские воззрения кота Мурра. Дневники. М., 1972.
7. Гофман Э.Т.А. Новеллы. Л., 1990.
8. Сафрански Р. Гофман. М., 2005.
9. Шеллинг Ф.В.И. О мировой душе... // Соч. : в 2 т. М., 1987. Т. 1.

Об авторе

Калинников Леонард Александрович — д-р филос. наук, проф. кафедры философии исторического факультета Балтийского федерального университета им. И. Канта, kant@kantiana.ru

About author

Prof. Leonard Kalinnikov, Department of Philosophy, Faculty of History, Immanuel Kant Baltic Federal University, kant@kantiana.ru